

K.B. ДУШЕНКО

«ЛЯХ» И «МОСКАЛЬ»: ВЗАИМНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ ПОЛЯКОВ И РУССКИХ

До недавнего времени специальных работ о взаимных стереотипах поляков и русских не существовало – ни в Польше, ни тем более в СССР. Однако за последние несколько лет на польском языке появилось несколько серьезных исследований на эту тему, имеющих несомненное теоретическое значение. В первую очередь, это относится к монографии краковского исследователя А.Кэмпиньского «Лях и москаль: Из истории стереотипа» (6). Здесь прослеживается история зарождения и формирования взаимных (отрицательных, по преимуществу) стереотипов поляков и русских на протяжении XVI — первой трети XIX в. Хотя построена работа на историко-литературном материале, ее предмет – не история литературы, а механизмы формирования, структура и функции этнических стереотипов в культуре.

Понятия этноцентризма, авто- и гетеростереотипа

Культурный стереотип выражается в «устойчивых текстах культуры, своего рода культурных идиомах, вписанных в код национальной памяти» (5, с.11), ибо «сущностью стереотипа как элемента национальной традиции является его наследуемость в процессе социального воспитания, его воспроизводимость» (6, с.213). А. Кэмпинский исходит из постулата

о неизбежном *этноцентризме* всякой национальной культуры. В более ранней работе И. Курчевской (5) этноцентризм определяется как «комплекс убеждений, согласно которому собственная группа является центром всего, мерой всего, сравнительной шкалой для всех остальных социальных групп и социальных явлений <...>. Этноцентризм является эмоциональным и интеллектуальным обоснованием превосходства собственной группы над всеми остальными, обоснованием этического дуализма, согласно которому все хорошее в социальном мире связано с моей собственной группой, а все дурное, предосудительное приписывается другим группам» (5, с.66).

Этноцентризм, отмечает Кэмпиньский, есть явление универсальное, присущее каждому обществу, «это фундамент оценочных суждений, вытекающих из аксиоматической предпосылки о культурном превосходстве собственной этнической группы» (5, с.65); «решающее значение неизменно имеет самоидентификация, то есть точка зрения собственного культурного круга — «Духовного Центра» (6, с.84). Поэтому стереотип «чужих» (*гетеростереотип*) есть в некотором смысле функция представления данного народа о самом себе (автостереотип), средство обретения, сохранения и упрочения национальной идентичности, «самости».

Констатация «инакости» и даже «чуждости» не всегда предполагает враждебную установку: необходимо еще осознание конфликта интересов или конфликта культурных укладов. «Ощущение угрозы высвобождает защитную реакцию» (6, с.28), «“этноцентрическая по своему происхождению антитеза” “мы – они” основная функция которой состояла в разграничении области “своего” и “чужого” становится теперь необычайно остро ощущаемой альтернативой жизни и смерти» (6, с.70). В другом месте своей монографии Кэмпиньский формулирует это как общее правило (уже без оговорок относительно защитной реакции на угрозу): «Освященный традиционными образцами культуры автостереотип имеет свою антитезу в виде гетеростереотипа с отрицательным знаком» (6, с. 75).

Двучленная оппозиция «своего» и «чужого» особенно характерна для народного, в каком-то смысле магического сознания. Отсюда «едва ли не всеобщая ксенофобия народной культуры» (6, с.55). Стереотипы «чужих» зачастую выдают наши затаенные комплексы. «Мы не любим признаваться в неприязненном или даже враждебном отношении к чужим, ведь нередко это свидетельствует о компенсации или проекции собственных (подавляемых) национальных изъянов или исторических неудач; однако нельзя отрицать, что в польском обыденном сознании соседние

народы обычно оцениваются отрицательно» (6, с.63). Поэтому автор сознательно ограничивает предмет своего исследования «такими текстами культуры, в которых в наиболее чистом виде проявляются этноцентристические компоненты национального этоса, они существуют в виде автостереотипов и, в свою очередь, служат аксиологическим фундаментом для конструирования гетеростереотипов» (6, с.187).

Образ абсолютного врага «Москва» и «москаль»

Основные черты образа русского «москаля» и России «Москвы» складываются в Польше с конца XVI столетия в виде стереотипных формул, нередко латинских и стихотворных, содержащих сравнительную характеристику разных народов. «Формирование обобщенного образа России (точнее, – Москвы, Руси) как стихии, враждебной той системе ценностей, которая – не слишком отчетливо и скорее интуитивно — отождествлялась с понятием “польскости”, произошло уже в XVI веке, вопреки обычному мнению, приписывающему эту заслугу поэтам-романтикам» (6, с.32). После Смуты начала XVII столетия «враждебность стала устойчивым фактором, определяющим отношение двух народов друг к другу» (6, с.27—28). В агитационных текстах в оправдание польского вмешательства в дела России закрепляется отрицательный стереотип «Москвы» и «москаля».

Разделы Польши и утрата ею независимости в конце XVIII в. стали для поляков настоящим культурным шоком. «Далекий» враг, известный доселе, главным образом, по реляциям воинов и путешественников, стал «близким» врагом. Угроза существованию нации была причиной особенно сильного «национализма» польской культуры XIX столетия; при этом совершенно исключительная роль принадлежала великим романтикам А.Мицкевичу, З.Красиньскому, Ю.Словацкому. По замечанию М.Янион, «поэты-романтики разработали обязательный, по сути, и ныне репертуар жестов, форм поведения и патриотических символов» (цит. по: 6, с. 73). А поэт-романтик Ц.Норвид выразил это в следующей формуле: «Национальный художник организует фантазию, как, скажем, национальный политик организует силы государства» (цит. по: 6, с. 78).

В зависимой стране проблема нации и ее «естества» могла рассматриваться только в оппозиции к государствам-захватчикам: «Россия, которая для поляков была врагом номер один, стала главной проблемой

польского романтизма, а от него ее унаследовал и XX век» (6, с.79). В основе созданного романтиками стереотипа России и русских лежит образ «врага вообще», в чем-то родственный мифологизированному народному сознанию. «В мифологизированной культуре польского романтизма понятие врага, антиномически противопоставляемое сакрализованному понятию родины, служит обоснованию категорической альтернативы: враг и все его атрибуты (в языке — коннотации) есть полярная противоположность ценностям, конституирующими область «польскойсти» (6, с. 81). Конфликт переводится в высший моральный план: «Зло — исключительный атрибут врага, победа в этой борьбе есть победа добра над злом, восстановление нарушенной целостности мира» (6, с.81).

Романтический образ «врага-москаля» в наиболее крайней форме содержится в произведениях (и переписке) З.Красиньского; но для польской культурной традиции гораздо большее значение имел, конечно, Мицкевич, особенно — поэма «Дзяды. Часть III». Согласно авторитетному мнению Чеслава Милоша, «поэма Мицкевича есть сумма польского отношения к России» (цит. по: 6, с.111). Образ России у Мицкевича служит основным источником стереотипов для польского культурного сознания. Этот образ, кстати сказать, имеет множество параллелей в трактате маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году» «Чтобы дать понятие о «наследственных» комплексах поляков, — говорит Ч. Милош, — достаточно цитировать де Кюстина: он на сто процентов сходится с польскими авторами XIX столетия» (цит. по: 6, с.106).

Русский в трактовке Мицкевича (и большинства польских романтиков) «обладает положительными общеславянскими чертами, но словно бы чудовищно искаженными: пресловутое славянское добродушие перерождается в русском характере в слепую покорность, это — «бедный славянин», которому знаком лишь «героизм рабства» тем самым он уже как бы в потенции «москаль» (6, с.106). А «москаль» для романтиков — воплощение варварского абсолютизма. Так, Пушкин у Мицкевича «иногда является русским в собственном смысле этого слова, порою даже москалем, а иногда — европейцем» (6, с. 13). Редкие случаи сближения антинических, в сущности, понятий «друзья» и «москали» (Мицкевич) или «москали» и «братья» (Норвид) были «своего рода семантической провокацией» (6, с. 136). Они не могли изменить интенсивной негативной окрашенности слова «москаль», в котором образ врага нашел предельно конденсированное выражение.

Образ России и русских у романтиков был составной частью их общего мировидения. А в основе всякого мировидения лежат элементарные семантические оппозиции, прежде всего пространственные. «Пространственные понятия наделяются моральным, этическим смыслом», «физическое пространство отождествляется с символическим» (6, с. 83; 84). «Культуре собственного, замкнутого пространства на противоположном полюсе соответствует “дикость” и “чуждая стихия” открытого пространства — чужого и враждебного (чужбина)» (6, с. 99).

В этом плане решающее значение имела для польского романтизма дихотомия «Запад — Север». Вообще говоря, понятие «Север» у романтиков неоднозначно. С «Севером» они нередко отождествляли и свое собственное культурное пространство; Мицкевич мог назвать себя «сыном Севера» — но только в споре с Западом, с Европой. «На территории чужой и враждебной культуры обязателен код национальной памяти с его традиционными клише и образами-стереотипами, включая автостереотипы» (6, с. 101). Поэтому коннотации, связанные с понятием «Север», по отношению к России были однозначно негативными: зло, холод, ночь, варварство и т.д. Север «становится ключевым символом образа России и главной отличительной чертой в культурной дихотомии своего и чужого» (6, с. 95).

Образ России у романтиков имел и свой религиозный аспект: Россия в лучшем случае отождествляется со «схизмой», в худшем — с антихристом. «Бог поляков» не мог быть Богом врага, поэтому, по примеру старошляхетских писателей, Россию относили к «языческому» культурному кругу. Принцип самодержавия (в котором усматривали сущность русской истории) выводился из догматов православия. Как писал Крачинский «сущность и принцип московской схизмы — верховенство светской власти над властью духовной, т.е. признание превосходства и верховенства плоти над душой, материи над духом, формы над содержанием» (цит. по: 6, с. 123)¹. Россия — элемент деструктивный в истории, она

¹ В другом месте Кэмпинский приводит любопытное суждение Ю. Мицкевича о двойной мерке оценки одинаковых фактов. Российская неметрическая система мер служила образчиком типичной отсталости, а английская — образцом похвальной привязанности к традиции, Николай II, как глава русской православной церкви, служил примером «типичного византийства», а то, что молодая дама, королева Елизавета, была главой сразу двух церквей рассматривалось как свидетельство «популярности британской монархии» (цит по: 5, с. 64). — *Здесь и далее примечания автора обзора.*

угрожает извечному, освященному земному порядку, а в трансценденции — божественному. Недаром Ю.Словацкий помещает в аду (вместе с папой Григорием XVI, осудившим польских повстанцев) Петра I, Екатерину II, великого князя Константина (наместника Царства Польского до 1830 г.), Николая I и Суворова.

«Таким образом, некогерентная (по сравнению с собственной) чужая знаковая система сводится к известной формуле, неупорядоченные знаки и символы — путем их включения в классическую, манихейскую картину мира как арены борьбы добра и зла, света и тьмы — аксиологически упорядочиваются и могут отныне воспроизводиться в форме стереотипов» (6, с.100). Редукция национальной системы ценностей (вместе с ее антитезой — образом врага) к манихейской модели «введет к максимализации культурной дистанции и упрочивает убеждение в принципиальной несогласуемости своей и чужой культуры, а также в существовании взаимной идиосинкразии» (6, с.108).

Этика борьбы не допускала уступок и полутонов» (6, с.108—109); поэтому образ России у романтиков строится из антиномических пар, в основе которых лежат «элементарные семантические множители»: свое и чужое, добро и зло, белое и черное. Сетка ключевых понятий и метафор, связанных с Россией, выглядит, согласно Кэмпинскому, следующим образом:

добро — зло; белое (свет) — черное (тьма); тепло — холод;
Запад — Восток (Север);
религия, вера (мессианские представления о предназначении Польши) — безверие, безбожность;
культура (цивилизация) — не-культура (антицивилизация, варварство, дикость);
родной язык — «чужой» язык (как угроза родному);
нравственность (добродетель) — безнравственность (преступление);
герои, защитники правого дела — антигерои;
горстка защитников — орды захватчиков, колосс, великан;
свобода и права личности — деспотизм, тирания, рабство;
исконно славянские корни — чужеземные влияния, определившие национальный характер;
духовность — материализм;
Польша как вождь народов — Россия как угроза для всего мира;

синтез: две противоположные идеи (Ормузд и Ариман и т.д.) (6, с 112).

Как видим, «синдрому позитивных черт и коннотаций соответствует на противоположном полюсе такой же комплекс представлений с отрицательным знаком; конфронтация охватывает все элементы системы национальных ценностей» (6, с.112). «Автоматические ассоциации по принципу эмоционального, то есть нерефлексивного отождествления понятий образуют структурную основу <...> каждой пары образов-стереотипов» (6, с.182) — таких, как «варвар-москаль» или (на другой стороне) «кичливый лях».

Стереотип «ляха» в «генотипе русской культуры»

Тезис об этноцентризме всякой национальной культуры Кэмпиньский развивает применительно к культуре старой Руси, а затем (с оговорками) — и послепетровской России. «Надвременную парадигму русскости» он усматривает в православии: «Православный партикуляризм, решительно отмежевываясь от всего западного мира, определил основные антиномии русской мысли» (6, с.144). «Этноцентристическое самосознание Руси было антилатинским и, следовательно, антизападным», поэтому определяющей чертой «генотипа русской культуры» была вероисповедная и этническая ксенофобия (6, С.147). Принадлежность Польши к кругу католической цивилизации, а Руси (позже — Москвы и России) — к православному миру, «определенна фон и контекст их взаимных отношений» (6, с. 152).

Уже в «Повести временных лет» печерский монах Матвей увидел чёрта в образе ляха. Феномен «этнизации» чёрта вообще характерен для народной культуры, в том числе польской; культурная инакость в народной фантазии нередко «связывалась с метафизическим злом, с нечистой силой» (6, с.50). С точки зрения социальной психологии, это — проекция собственных негативных переживаний на иноверцев.

Со временем Смуты, когда борьба с поляками изображалась как религиозная война, «миф об извечной вражде, модифицируемый в соответствии с нуждами патриотической пропаганды в периоды войн и восстаний, становится главной понятийной моделью польско-русских отношений и исходной точкой взаимных оценок» (6, с. 160). Так, русская антинаполеоновская пропаганда изображала борьбу двух держав (в которой поляки сражались на стороне Наполеона) как войну за православную веру.

«Механизмы индоктринации мало меняются на протяжении веков» (6, с. 181).

Стереотип «ляха» в русской культуре первой трети XIX в. Кэмпинский рассматривает на самом разном историко-литературном материале, но прежде всего — на примере русской исторической повести 1820—1830-х годов. Вслед за другим польским исследователем, А.Юзенко, он приходит к выводу, что в этот период «основным, архетипическим противопоставлением является антитеза истинной и ложной веры, православия и католицизма <...>. В сфере сакрального оказывается «святая Русь», «матушка Русь», «святое отчество» и его защитники — «православные христиане» (6, с. 189). «Схема “сакрум — профанум”, наложенная на этноцентристические представления, не допускала интерференции значений» (6, с.211). Поэтому весь изображаемый мир (как, например, в повести А. Бестужева-Марлинского «Наезды») «четко делится на две части — русскую, с исключительно позитивными коннотациями, и польскую, наделенную отрицательными коннотациями» (6, с. 192).

Словом, ситуация со стереотипом «ляха» в России оказывается едва ли не зеркальным отражением ситуации со стереотипом «москаля» в культуре польского романтизма (хотя автор подобного тезиса в явном виде не формулирует). Тут, однако, возникают сомнения. На несходство ситуации в обеих странах Кэмпинский указывает вполне определенно. «Национальное существование России не было под угрозой, совсем на-против» (6, с. 171). «Триумф над Великой Армией (Наполеона — К.Д.) успешно уравновешивал комплекс Запада» (6, с. 173). «Русская литература не была всего лишь выражением казенного патриотизма» (отразившегося в повестях Загоскина и драмах Кукольника) (6, с. 180). К тому же романтизм в России не был «патриотической религией» не создал универсальной модели культуры (6, с.171—172).

Все это совершенно верно. И все это доводы в пользу гораздо меньшей (по сравнению с Польшей) степени этноцентризма (и национализма) русской культуры первой половины XIX в. Образ «абсолютного врага» был для нее гораздо менее значим¹; попытки изобразить в виде такого врага поляков предпринимались неоднократно (с особенной силой — в 1860-е гг.,) однако оставались скорее на периферии русской культуры

¹ Такой враг появляется в XX в. в виде Германии и немцев, а также (после 1917 г.) в виде классового врага, способного принимать любое, в том числе любое этническое обличье. Попутно заметим, что понятие «абсолютный враг» введено нами ради удобства изложения (у автора оно отсутствует).

(1, с. 158–159); если уж прибегать к сравнениям из области биологии, такие попытки определяли скорее «фенотип» русской культуры в ту или иную эпоху, нежели ее «генотип». Речь тут не о светлых или черных красках в изображении поляка, а в той роли, которую стереотип поляка (и Польши) играл в русской культуре, о его значимости в мировидении русского (приобщенного к культуре) человека.

Чтобы повысить ранг стереотипа «лях» в русской культуре, автор вынужден прибегать к достаточно спорным логическим построениям (которые, кстати, нередко противоречат его процитированным выше высказываниям). В русской культуре XIX в. Польша, по его мнению, выступает как «представительница “латинской” идеи Запада» (6, с. 167), как «часть антитезы Россия — Европа» (5, с. 174); русская культура и русская мысль самоопределялись по отношению к Западу, следовательно — и к Польше, «полонизму» как системе исторических и культурных ценностей. Нам представляется, что это — неоправданное перенесение культурной ситуации допетровской Руси на Россию XIX в. И хотя далее автор уточняет, что для русской мысли характерна «полярность между славяно-фильской и западнической ориентацией» (6, с. 165), первой из них он явно отдает предпочтение, точки зрения ее соответствия «генотипу» русской культуры и ее влияния на общественное сознание.

Тезис, согласно которому Польша воспринималась как «часть антитезы Россия — Европа», вовсе не очевиден (если понимать его как общее правило)¹, да и сама эта антитеза не имела абсолютного характера (в отличие от антитезы «Запад — Восток» в польской культуре). В русском образованном обществе западническая ориентация (в самом широком смысле этого слова) безусловно преобладала. Даже официальная доктрина выводила «новую Россию» не непосредственно из старинной «святой Руси», а из эпохи петровских реформ; не случайно власти с большим недоверием относились к последовательному славянофильству.

Что же касается народной (в смысле — простонародной) русской культуры XIX в., то само существование в ней сколько-нибудь четкого

¹Пушкин, риторически восклицая: «Иль нам с Европой спорить ново?» — отношения с Польшей рассматривает совершенно отдельно, как «спор славян между собою». (При этом, в известном смысле, Пушкин был более последовательным «европейцем», чем, скажем, Мицкевич в период парижской эмиграции.) А в самый разгар антипольской истерии, в 1860-е годы, Польша изображается как страна, закоснелая в «пережитках прошлого», как некий реликт феодализма в новой, реформирующейся Европе (к которой принадлежит и Россия).

стереотипа поляка нуждается в доказательстве. (Существование образа немца в русской народной культуре того времени вполне убедительно доказывается в работе С.В. Оболенской «Образ немца в русской народной культуре XVIII—XIX вв.¹; однако образ этот относился не к жителям Германии, а к «русским немцам», составлявшим особую категорию населения крупных русских городов.) Попытка Кэмпиньского реконструировать народный стереотип поляка на материале русских пословиц (6, гл. 6) не особенно удалась; довольно скучный запас собственно русских пословиц и поговорок, связанных с Польшей (и, кстати, вовсе не рисующих образ поляка-врага), пришлось пополнить пословицами украинскими и белорусскими.

Кэмпиньский цитирует Ч.Милоша: «Их (русских — К.Д.) захватывало в поляках как раз то, что их в поляках отталкивало — поэтичность, ирония, легкость, латинский обряд» (6, с. 206), однако эту мысль — **амбивалентности** образа поляка и Польши в русской культуре — сам он не развивает. Мы вернемся к этой проблеме в следующем разделе обзора.

Черты амбивалентности в этническом стереотипе: «Кичливый лях» и прекрасная полька

Название книги Я.Орловского «Из истории антипольской мании в русской литературе» (7) не вполне соответствует ее содержанию. Автор скорее показывает, что образ поляка в дореволюционной русской словесности претерпевал весьма существенные изменения. В екатерининскую эпоху польская тема возникает в похвальных одах императрице и еще — в стихотворно-драматических «Димитриадах», повествующих об эпохе Смуты. Одописцы воспевали победы русского оружия и расширение пределов империи, «но о Польше писали без ненависти, а перед ее жителями рисовали картины счастья, ожидающего их под властью Екатерины» (7, с.41). В первой из «Димитриад» — трагедии А.Сумарокова «Димитрий Самозванец» (1771) — поляки остаются на заднем плане; Димитрий интересен драматургу как коронованный тиран (мы бы сказали, как идеальный злодей), а не как пособник вражеских происков. Но уже в державинской оде «На взятие Варшавы» (1794) возникает образ «строп-

¹ Одиссей: 1991. — М., 1991. — С. 160–185.

тивой Польши», «гидры злобной», а «Освобожденная Москва» М.Хераскова (1798) являла собой суд над умершой Польшей.

В романтической повести 1820-х годов появляются вымышленные (не исторические) образы поляков со всеми признаками стереотипа: стяропольский шляхтич — «сармат», гордый магнат, прекрасная шляхтянка. Стереотипный шляхтич кичлив и задирист, любитель гулянок и выпивки, нередко сутяжник, а в эпоху Смуты он еще и захватчик, грабитель, святотатец. На этом не слишком радужном фоне выделяются (хотя бы в «Юрии Милославском» М. Загоскина) индивидуализированные образы, которые не укладываются в рамки стереотипа — отважные и рыцарственные. Мы бы сказали, что они построены по законам не этнического, а общеромантического стереотипа.

В пушкинском «Борисе Годунове» Орловский усматривает противопоставление русской и польской культур, «которые восходят к разным источникам и исторически друг другу чужды» (7, с. 74). Однако он все же преувеличивает резкость **морального** противопоставления поляков и русских в «Годунове». Пушкин далек и от апологии «святой Руси» и от этического этноцентризма (вовсе не чуждого современным ему польским романтикам, а в русской литературе — славянофилам и Достоевскому). Недаром жалуется Гаврила Пушкин Басманову на то, «что казаки лишь только села грабят, / Что поляки лишь хвастают да пьют, / А русские... да что и говорить...».

Пример черно-белого видения своих и чужих у Пушкина — знаменитая строка «кичливый лях иль верный росс» из стихотворения «Клеветникам России» (обращенного, впрочем, не к полякам; по верному определению Орловского, стихотворение это — «антифранцузский памфлет»). Но мало кто помнит другую строку из того же стихотворения: «Борьбы отчаянной отвага». Отвага поляков в «неравном споре» ставит под сомнение однозначно негативный стереотип врага¹. «Наследственная распрыя» России и Польши, по Пушкину, — конфликт **интересов**, «геополитический» конфликт, но не борьба двух нравственных начал — хорошего и плохого, светлого и темного (как это изображалось в публици-

¹ То же у К. Рылеева в думе «Богдан Хмельницкий», где образ поляка-врага рисуется при помощи разнонаправленных (в оценочном плане) эпитетов: «сармат и храбрый, и надменный»? «Храбрость» соседствует здесь с «надменностью», как у Пушкина — «кичливость» с «отвагой».

стике катковского круга 1860-х годов)¹. Знаменательно, что «западнические и католические симпатии не помешали П.Чаадаеву и М.Лунину резко осудить восстание 1831 г. все с той же, державной точки зрения.

«Химически чистым» образцом официозной антипольской пропаганды 1830-х годов была драма Н.Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла» (1834), вошедшая в историю русской литературы из-за скандала с закрытием «Московского телеграфа» (за неодобрительный отзыв). Что же касается «Тараса Бульбы» Гоголя, то, несмотря на кричащую тенденциозность в изображении поляков (которую Орловский небезосновательно связывает с образом «ляха» в *украинской* народной традиции), центральной идеей повести он считает «не национализм как таковой, а патриархально-республиканскую утопию, противопоставляемую элементам городской, европейской цивилизации (польское влияние)» (7, с. 112). Между прочим, эта утопия вовсе несходна с российской патриархально-монархической утопией — как в ее официозном, так и оппозиционном, славянофильском варианте.

Вообще же не подлежит сомнению, что обращение к украинской теме (особенно в ее социальном аспекте) нередко «диктовало» русским писателям резко негативный образ поляка-врага. Пример Рылеева тут особенно показателен. В лирическом стихотворении Польша для него — «край далекий, край прекрасны́й» («В альбом Т.С.К.»). И там же «Я вспомнил добрых земляков (поляков. — К.Д.) Гостеприимные их нравы / И радость шумную пиров». А в думе «Наливайко», писавшейся в то же самое время (1824—1825), герой восклицает. «Жид, униат, литвин, поляк — / Как стаи кровожадных вранов, / Терзают беспощадно нас». Лирический и социально-исторический план не совпадают, больше того — взаимно отрицают друг друга.

Но особенно не поздоровилось полякам (литературным) после восстания 1863 г. В антинигилистической беллетристике 1860-х годов усердно разрабатывался мотив всепроникающей «польской интриги» (мотив, заметим, предвосхищавший позднейшую теорию «еврейских происков»). В 70-е годы, когда шовинистический уггар приутих, «зловордная натура поляка проявляется в русском романе не столько в диверсионной деятельности и вражеских заговорах, сколько в мошенничес-

¹ «Все это хорошо в поэтическом отношении, — пишет Пушкин П.Вяземскому, признавая храбрость поляков в сражении под Остроленкой (май 1831). — Но все-таки их надо задушить, и наша медленность мучительна» (письмо от 1 июня 1831). Поэтическая сторона — одно, национально-государственные интересы — совсем другое. (Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. — М., 1978. — Т. 10. — С.31.).

стве, аферах, сомнительных способах делать карьеру» (7, с. 141). У Достоевского поляки просто карикатуры. Орловский, впрочем, отмечает, что в «Бесах» (1872) поляки играют мизерную роль. Это существенно; «бесы» Достоевского — насквозь свои, а не орудие какого-то внешнего по отношению к России заговора.

Не слишком симпатичны поляки (как правило, обрусы) у Тургенева, а позже — у Чехова. Хотя для нынешнего русского читателя это не слишком заметно; ему приходится напряженно припомнить: а какие, собственно, поляки выведены у Тургенева или Чехова? Гораздо сложнее обстояло дело с Лесковым. «Плохие» поляки в его прозе явно преобладают; а вместе с тем Лесков создал несколько образов поляков и полек, вызывающих безусловную симпатию у читателя, вплоть до образа поляка-праведника¹. И уж совсем особняком стоит А.К.Толстой, который в самый разгар антипольской истерии в «Смерти Иоанна Грозного» (1864) показал моральное превосходство польского посла Гарабурды над московским тираном.

Ближе к концу века изображение поляков в русской литературе становится более спокойным и уравновешенным. В социально-бытовой прозе они выступают как всего лишь часть национальной мозаики Российской империи. Типичен в этом отношении Д.Мамин-Сибиряк, у которого появляется образ поляка-предпринимателя и финансиста. Хорошо известны «поленофильские» мотивы в позднем творчестве Льва Толстого («За что?» «Хаджи-Мурат»). Сочувственно писали о поляках и Польше поэты-символисты (К.Бальмонт, А.Блок, Ф.Сологуб). А в поэме М.Сандомирского «Марина Мнишек» (1911) Марина играет ту же роль, что Прекрасная Дама в лирике Блока — роль воплощения вечной женственности.

Начало первой мировой войны сопровождалось «настоящим взрывом польской тематики в русской литературе» (7, с.190). Преобладавшее тогда настроение лучше всего выражает цитата из Т.Щепкиной-Куперник: «Край нам близкий, Польша, Польша, / Наша младшая сестра». Польша отныне — мученица в терновом венце, изнывающая под германским игом. В военной прозе поляки (вместе с русски-

¹ В этом плане особенно любопытен один из наиболее известных рассказов Лескова «Воительница» (1866 – дата весьма знаменательна). Петербургская поляка, дама полусвета, изображена здесь с безусловным сочувствием; а «оппонирует» ей сводня, «русскость» которой всячески подчеркивается автором.

ми) противостоят немцам — варварам, насильникам и грабителям. В литературном стереотипе поляка оставляются лишь положительные черты: гордость, патриотизм, гостеприимство. Весьма част любовный мотив — очаровательная полька и русский офицер. Старые клише и лозунги переосмысяются: «Мы дружно пойдем / Единым путем / За нашу свободу и вашу!» (Бальмонт). Пойдем, разумеется, против немцев.

Все это приводит автора к выводу, что «стереотип Польши и поляка вплоть до новейшего времени трактовался в России инструментально и складывался в зависимости от конъюнктурных политических целей» (7, с.215). И это, пожалуй, верно, если речь идет о «текущей словесности», выражавшей сиюминутные настроения общества (или — после 1917 г. — установок директивных органов).

Книга Орловского по жанру — скорее обзор (иногда — с высоты птичьего полета), нежели проблемное исследование. А проблем здесь возникает немало. О некоторых было сказано выше; а вот еще одна. Орловский неоднократно, по разным поводам, упоминает о существовании в русской литературе образа (даже стереотипа) «прекрасной польки». Заметим, что этот образ существовал, по меньшей мере, в двух основных вариантах: демоническом, начиная с Марины Мнишек в драме Державина «Пожарский» (1806), и лирическом (хрестоматийный пример — Мария Потоцкая в «Бахчисарайском фонтане» Пушкина). Почти несомненно, что русскому читателю гораздо легче припомнить женщин-полек, изображенных в русской литературе, чем поляков-мужчин. Эти женские образы не только ярче мужских, но и **значимее**, чем мужские. Образ прекрасной польки в «Тарасе Бульбе» побудил Вл.Солоухина — читателя отнюдь не рядового — переосмыслить идеальное звучание повести и сделать вывод (быть может, спешный, но все же знаменательный) о тайной любви Гоголя к католической Польше¹.

Так что, когда В.Хлебников (в книге Орловского не упомянутый) говорит о себе: «гонимый <...> песнью про прелест польки»², — он отсылает читателя к целому пласту русской культуры, к устойчивому культурному знаку. Любопытно не только существование в русской культуре этого образа-знака, но и то, что в XIX в. он часто встречается у художников, рисовавших «поляка вообще» по канонам негативного сте-

¹ См.: Солоухин В.А. Камешки на ладони. — М., 1988. — С.387—388.

² Хлебников В. Творения. — М., 1987. — С.77. (Из стихотворения 1912 г. «Гонимый — кем, почем я знаю?»).

реотипа. Мы склонны видеть в этом свидетельство амбивалентности тогдашнего отношения к полякам и Польше. Несмотря на «старый спор славян между собою», несмотря на резкое несходство исторических традиций обоих народов, несмотря, наконец, на укорененные в общественном сознании предубеждения, — было в «польскости» что-то притягательное для русского человека.

Политизация этнического стереотипа: Образ СССР и советского человека

Чрезвычайно любопытной с точки зрения «общей теории культурных стереотипов» представляется работа Г.Гэнцицкой «Дьявол» и «лагерь» — образ СССР в подпольной периодике» (2). Предметом анализа послужили 16 периодических изданий «Солидарности» 1982—1986 гг., главным образом, заводских газет. СССР рисуется здесь как политическая и, в меньшей степени, социальная и культурно-идеологическая система. Этот образ в высшей степени абстрактен. Единственные природно-географические реалии, упоминаемые достаточно часто — Москва (Кремль) и Сибирь. Люди в этой картине также отсутствуют. Зато появляется специфический, «смоделированный» конструкт, носящий название «советского человека». Он существенно отличается от обыденного, стереотипного представления, скажем, о чехе, еврее или цыгане. «Советский человек» — заведомая модель, идеальный тип, абстракция, необязательно совпадающая с реальностью. Это элемент общественно-политической системы, и не более того. Он лишен расовых или физиологических качеств, и вообще каких-либо качеств, не связанных непосредственно с политикой.

Потенциальной альтернативой «советскому человеку» служит не какой-либо из народов, а «настоящий поляк» сознательно противостоящий экспансии советизма. Образ СССР неизменно отмечен сильным — и негативным — эмоциональным зарядом. СССР рисуется прежде всего как воплощение империализма политического, экономического, военного, культурно-идеологического. Все здесь подчинено интересам империи и элиты советского государства, в том числе культурная политика, цель которой — внедрение советского образа жизни и превращение подданных империи в «советских людей».

Для «советского человека» характерны: покорность властям, приспособленность к жизни в условиях крайней бедности, готовность пре-

терпевать трудности, а также неприязнь к тем, кто нарушает заданные режимом нормы поведения, подчинение мнению большинства и податливость к индоктринации. Эти черты, в той или иной степени, можно наблюдать и в странах — «сателлитах Кремля». Результатом советизации является разрушение традиционных соседских, приятельских, семейных отношений, денационализация этнических групп, атеизация. В изучавшейся периодике «нет образа идейно убежденного коммуниста» (2, С.95); «советский человек» — «фигура порабощенная, сломленная и совершенно пассивная» (2, с.96).

Гэнсицкая выделяет два типа мышления, проявляющихся в высказываниях об СССР, и, соответственно, две разновидности стереотипа СССР: условно говоря, «стереотип дьявола» и «стереотип лагеря». В «лагерной» модели советская система есть лагерь принудительного труда, охватывающий все общество, тотальная организация бюрократического типа. А в «дьявольской» модели это — сатанинское государство, империя зла. «Коммунистическое государство, таким образом, — государство не от мира сего, антитеза божьего государства, глубоко нечеловеческая система» (2, с. 101). Ареной деятельности сил Зла служит прежде всего сфера культурной, духовной жизни. «В более мягкой версии говорится о совершенно чуждой и враждебной (полякам — К.Д.) азиатской системе» (2, с. 101).

В «лагерной» модели марксизм-ленинизм понимается как по-своему рациональная доктрина эксплуатации. В «дьявольской» модели это — сатанинское учение, разновидность новой религии, главная цель которой — овладение душами, искушение, привлечение новых, приверженцев. Мировая революция — предмет стремлений СССР — есть Страшный суд наоборот, долженствующий привести к господству дьявольской системы над всем человечеством, а советские руководители готовы платить за нее любую цену, пусть даже собственным народом.

В «лагерной» модели советский имперализм (как и предшествующий ему российский) рассматривается как выражение «обычных» колонизаторских стремлений. «Предполагая, что советские власти руководствуются некой экономической и политической рациональностью, врагу приписывается тот же способ мышления, что и себе самому» (2, с. 103).

В «дьявольской» модели, напротив, советские руководители — не рациональные политики, а служители сатаны, фанатики, пророки зла. Мир тут делится на приверженцев Бога и слуг Дьявола; при этом «Бог имеет

явные национальные коннотации: он всегда связан с Польшей» (2, с. 104). «Между “ними” и “нами” нет никаких переходных, промежуточных состояний» (2, с.105).

В «лагерной» модели общество рисуется по образцу лагеря принудительного труда. Основные группы здесь – заключенные и охранники, однако социальная структура многоступенчатая и размыта: на самом верху – Горбачев, в самом низу — ночной сторож <...> Каждый может быть (и чаще всего бывает), смотря по обстоятельствам, либо охранником, либо заключенным. Люди приспосабливаются к действительности, к своим социальным ролям. В рамках этой модели возможен «порядочный гебист» или «честный красный» (2, с.105).

«В логике “дьявольской” модели индивид стоит перед необходимостью однозначного морального выбора: «либо Бог и Отчизна, либо Сатана»» (2, с.106). Сторонники этого типа мышления ориентированы, прежде всего, на национальную и религиозную традицию. Их главная цель – духовное освобождение от влияния коммунизма. Собственно политические задачи не акцентируются. Между тем, что существует теперь, и тем, что будет, зияет программный пробел.

В «лагерной» модели – иначе. Здесь предлагаются действия «на сегодняшний день»; допускаются контакты и переговоры с властями. «Переговоры возможны, поскольку членам правящих групп приписывается мышление, сходное со своим собственным, некая политическая рациональность. Язык лагерной модели включает поэтому понятие интересов, соотношения сил и допускает возможность компромиссов» (2, с. 108).

Стереотип, о котором идет речь, «не является отдельным суждением, но комплексом суждений с чрезвычайно сложной структурой» (2, с. 109), причем суждений, достигающих крайней степени абстрагирования. «Такой стереотип напоминает неолько обыденные стереотипы еврея, цыгана или немца, сколько более тонкие и абстрактные стереотипы, встречающиеся в литературе, политике или науке» (2, с. 109). Такой стереотип можно рассматривать как «сознательный конструкт, подчиненный высшим целям, таким как существование и консолидация группы “социальных актеров”, достижение ими своих общественных, политических или экономических целей» (2, с. 110). Его содержание меняется в зависимости от поставленных целей. «Можно предположить, что в польском обществе нет единого стереотипа России или СССР, а есть разные стереотипы, смотря по тому, кто, когда и для чего их использует», «стереотипы устойчивы постольку, поскольку устойчива ситуация деления на “своих” и

“чужих” и потребность в ясном и четком определении поля, в котором действует “социальный актер”» (2, с. 111).

Тезис, согласно которому «отношение к русским в Польше должно иметь политическое измерение» (4, с. 115), подтверждается результатами опроса, проведенного в мае—июне 1990 г. в Польше и СССР (в СССР — только в Москве). 21% опрошенных поляков испытывали к русским «скорее симпатию», 10 — «скорее антипатию», 61% — безразличие. Вполне вероятно, что это было «враждебное безразличие», поскольку 44% опрошенных считали, что в целом поляки относятся к русским неприязненно, а 38% — что и русские относятся к полякам так же (лишь 15% приписывали русским симпатию к полякам) (4, с. 116).

Напротив, 59% опрошенных москвичей ответили, что испытывают к полякам «скорее симпатию», лишь 8% — «скорее антипатию» и 8% — безразличие. В то же время 39% москвичей приписывали полякам «скорее неприязненное» отношение к русским, и лишь 15% — симпатию к русским (4, с. 116). «Таким образом, русские оценивали свое отношение к полякам как «любовь без взаимности» (4, с. 117). 61% москвичей считали, что русские в целом относятся к полякам «скорее с симпатией», лишь 11% — что «скорее с антипатией» (4, с. 116). Стало быть, москвичи более адекватно оценивали отношение поляков к русским, чем поляки — отношение русских к полякам. Авторы работы объясняют это действием механизма проекции. «Респонденты, которые сами испытывали симпатию к другому народу, одновременно были чаще убеждены, что их соотечественники в целом тоже относятся к этому народу с симпатией. И то же самое — в случае неприязненного отношения» (4, с. 118). Проекция также выражается в убеждении, что наши чувства к другому народу разделяются его представителями: поляки, испытывавшие симпатию к русским, чаще приписывали им симпатию к полякам, а относящиеся неприязненно — неприязнь.

Поляки, отвечая на вопрос о положительных и отрицательных чертах русских, среди первых чаще всего называли гостеприимство (14,5%), открытость, сердечность (11,4), доброжелательность (6,1), а среди вторых — запуганность (4,3) и агрессивность (2,1%) (с. 121). Как видим, «положительные» черты преобладали. «Следовательно, мы имеем дело сразу с двумя точками зрения на русских. Первая сформирована представлениями о политике СССР; это образ “Советов” — представителей коммунистического строя и агрессивного государства, от которого Польша неоднократно терпела обиды <...> Открытый вопрос о чертах

русских (который заставил респондентов самостоятельно формулировать ответы, то есть глубже задуматься о предмете опроса) выявил иной образ. Это уже не настолько глубоко укорененный, но также достаточно распространенный образ русского – “открытой славянской души”, человека радушного и сердечного, жертвы коммунизма» (4, с.121).

Подобную двойственность выявило также исследование, проведенное А. Тушиньской (1990) среди учащихся варшавских школ. Некоторые из опрошенных достаточно ясно отличали русский народ «бедный», «добрый», «добродушный» от власти («лживой», «коварной», «злой»), но в целом то, что они думали о системе, формировало их отношение к народу (4, с.121).

О том же свидетельствует следующий факт, процент поляков, считавших СССР дружественным Польше государством, снизился с 91% в 1978 г. до 20% в 1991 г. (2, с.238). Соответственно процент выражавших симпатию упал с 59% в 1974 г. до 16% в 1991 г. (по данным регулярных общепольских опросов) (3, с.234).

Список литературы

1. Duszenko K. Polak i Polka w oczach Rosjan // Narody I stereotypy. – Kraków, 1995. – S. 158—164.
2. Gęsicka G. «Diabel» i «lagier» – obraz ZSRR w czasopismach podziemnych // Blizcy a dalecy. – W-wa, 1992. – S. 91—113.
3. Jasińska-Kania A. Zmiany stosunku Polaków do różnych narodów // Ibid. — S. 219—246.
4. Konieczna J., Mintusow I. Polacy i Moskale: Obraz stosunków polsko-rosyjskich w oczach Rosjan i Polaków // Ibid. – S. 115—135.
5. Kurczewska J. Etnocentrzm a ideologia narodowa // Kultura i społeczeństwo. – W-wa, 1988. – S. 65—87.
6. Kępiński A. Lach i Moskal: Z dziejów stereotypu. – W-wa; Kraków, 1990. – 223 s.
7. Orłowski J. Z dziejów antypolskich obcesji w literaturze rosyjskiej: Od wieku XVIII do roku 1917. – W-wa, 1992. – 244 s.